

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ЯЗЫКОВ И
ГОГОЛЬ

Петр Вяземский
Языков и Гоголь

«Public Domain»

1847

Вяземский П. А.

Языков и Гоголь / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1847

«Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко означавшимися. Одно из них порождало в нас печальное и безнадежное сочувствие, под которым потрясается и изнемогает душа при утрате, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось в нас звучным выражением жизни и открывало пред нами в области мышления светлые просеки, пробуждало в нас новые понятия новые ожидания...»

Содержание

I	5
II	6
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Петр Вяземский Языков и Гоголь

I

Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко означавшимися. Одно из них порождало в нас печальное и безнадежное сочувствие, под которым потрясается и изнемогает душа при утрате, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось в нас звучным выражением жизни и открывало пред нами в области мышления светлые просеки, пробуждало в нас новые понятия новые ожидания. В первый день 1847 года пронеслась в Петербурге скорбная весть о кончине поэта Языкова и появилась новая книга Гоголя. По крайней мере, я в этот день узнал, что не стало Языкова, и прочел несколько страниц из «Переписки с друзьями», где между прочим начертана верная оценка дарованию Языкова. Эти строки обратились как бы в надгробное слово о нем, в светлые и умиленные о нем поминки. Это известие, это чтение, эти два события слились во мне в одно нераздельное чувство. Здесь настоящее открывает пред нами новое будущее; там оно навсегда замыкает прошедшее, нам милое и родное. Там событие совершившееся и высказавшее нам свое последнее слово, поприще опустевшее и внезапно заглохшее непробудным молчанием. Здесь событие возникающее, поприще, озаренное неожиданным рассветом. На нем пробуждается новое движение, новая жизнь; слышатся новые глаголы, еще смутные, отрывчивые; но уже сознаем, что, когда настанет время, сим глаголам суждено слиться в стройное и выразительное согласие созревшего и полного убеждения.

II

Смертью Языкова русская поэзия понесла чувствительный и незабвенный урон. В нем угасла последняя звезда Пушкинского созвездия, с ним навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры. Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Языков, не только современностью, но и поэтическим соотношением, каким-то семейным общим выражением, образуют у нас нераздельное явление. Ими олицетворяется последний период поэзии нашей; ими, по крайней мере донныне, замыкается постепенное развитие ее, означенное первоначально именами: Ломоносова, Петрова, Державина, после Карамзина и Дмитриева, позднее Жуковского и Батюшкова. В сих именах сосредоточивается отличительное выражение поэзии русской; это ее краугольные, заглавные, родоначальные имена. Каждое из них имеет свое особенное значение. Нельзя сравнивать одно с другим ни по степени дарования, ни по сочувствию и одушевлению, которым общество отозвалось на голос каждого. Отблески славы, которые отсвечиваются на каждом из них, имеют также свою отличительную игру и яркость. Многие другие дарования проявлялись с успехом на поприще поэзии и запечатлели на нем следы, драгоценные для памяти народной; многие и ныне пробуждают благодарное внимание наше, по крайней мере тех из нас, которые в наш положительный век верят еще в баснословную музу и не охладели в служении ей; но, повторяем, вне имен, исчисленных нами, нет имен, олицетворяющих, характеризующих эпоху.

Крылов, например, как ни многозначительно имя это, не подходит ни под одно из выведенных нами подразделений. Он не принадлежит школе Дмитриева, хотя и начал писать басни после него; еще менее участвовал он в направлении, которое дал Жуковский. Крылов – явление совершенно отдельное. Он ничего не продолжал и ничего не зачал. Он ничей не преемник и никому не родоначальник. Он совершил свое, и только, но это только образует отдельный и цельный мир поэзии. Определив таким образом место Языкова, мы достаточно оценили значение, которое, по мнению нашему, принадлежит ему, и важность утраты, понесенную нами преждевременною кончиною его. Эта потеря тем для нас чувствительнее, что мы должны оплакивать в Языкове не только поэта, которого уже имели, но еще более поэта, которого он нам обещал. Дарование его в последнее время замечательно созрело, прояснилось, уравновесилось и возмужало. Первые и довольно долго, может быть слишком долго, продолжавшиеся опыты студенческой музы его выказывали только самобытность поэтической природы, которая выражалась необыкновенно бойким и звучным стихом. Виден был смелый художник, мастер в резьбе стиха, обильного красками и звуками, но поэт в полном значении, но творческая, но духовная сила разве изредка, и то мельком, проявлялась в нем. Опасно было застояться на месте: нужно было движение вперед. Движение это могло бы совершиться спокойно и постепенным развитием внутренних сил; но провидение судило ему воспрянуть из недуга и страдания, внезапно постигнувших юношу. Муза его на несколько лет умолкла и вышла из этого искусства молчаливого перерожденная и окрепшая. Однообразие, которым некоторые, и, может быть, не без основания, упрекали талант его, имело, впрочем, естественную причину. Языков и по характеру своему, и по обстоятельствам жил более внутреннею, нежели внешнею жизнью. За исключением некоторых приятелей, он мало водился с людьми, был неразговорчив и необщителен. Слова: светскость, общественность – не имели для него полного и живого значения. Долго жил он в Дерпте веселым отшельником, то есть студентом, кажется, даже и вышедши из студентов. Из Дерпта переехал он в симбирскую деревню и только изредка – и то на короткое время – являлся в Москву. В подобной жизни мало разнообразия во впечатлениях, мало побуждений и вызовов на деятельность. Понятия, ощущения перерабатываются, изменяются в частом и тесном столкновении с людьми и событиями. Гений может созревать и расти в созерцании одиночества; способностям, дарованию нужны движение и зрелище более разнообразное. Конечно, врожденная лень была одна из преобладающих стихий духовного

образования поэта нашего, но надобно признаться, что и судьба его была ленива. Поэтическое дарование его, особенно в первую половину, не являет признаков этой роскошной и разнообразной произрастительности, которою отличается почва более согретая, более благорастворенная влиянием живительной силы, ее окружающей. Но зато все, что взрастила муза его в тесной лощине своей, имеет необыкновенную силу, свежесть и сочность. Не в даровании его мало было гибкости и разносторонности, а в уме его и в привычках жизни. Разнообразные явления действительности не могли отражаться в его вымыслах потому, что поэтическое зеркало его обращено было ясною и восприимчивою стороною своею к внутреннему и личному миру поэта, а тусклою и непроницаемою ко внешним впечатлениям. Ему лень было переворачивать это зеркало. Поэтому стих его мало вызывал любопытство, мало касался современности, не возбуждал и не ласкал современных верований и легкораздражительных сочувствий. Стих его не кидался в боевую жизнь, не кипел общими страстями, не отвечал на все упования и сетования современного человека, как стих Байрона или Пушкина. Поэзия его не имела драматических свойств вечно изменяющейся жизни человека и общества с ее противоречиями, междоусобными, враждующими силами, битвами и нечаянностями. Поэзия его была лично и внутренне лирическая. В ней отзывались первобытные и вековечные глаголы природы, всегда единой и неизменной, но всегда новой и глубоко вам сочувственной в проявлениях своей однообразной и неистощимой расточительности; зато и стих его часто западал глубоко в душу своим многозначительным и огненным выражением. Чувства его не прорывались на поверхность, а сосредоточились в глубину. Поэзия его подземный, темный родник, из коего он в минуту волнения и жажды почерпал сильно бьющую и свежую струю. Дальние горизонты, широкое течение реки, орошающей красивые и живописные берега, не были даны ему в удел. И в жизни своей, и в таланте он почти заперся в заколдованном круге, который поэтически обвел около себя. Так прошли многие годы в неге мирных и созерцательных досугов. Но нельзя же целой жизни выразиться в одном светлом и безмятежном сновидении. Рано или поздно действительность отметит его своим жестким словом. Языков, не вмешавшийся в толпу и сечу, не мог опасаться нападений от людей и событий. Но, за неимением внешних противодействий, провидение наслало на него внутреннего и неотвратимого врага. Многосложная, неуступчивая, изнурительная болезнь вдруг вызывает жизнь его на подвиг долготерпения и страдания. Прости поэзия и тихие радости лени и самозабвения! Черствая и язвительная проза не дает поэту забыть, напоминая ему, что и он сын земли, то есть труженик. Все средства исцеления истощаются безуспешно. Наконец, врачи прибегают к обыкновенному крайнему средству, когда, не сумев избавить больного от болезни, они избавляются, по крайней мере, от больного. Языкова отправляют за границу. И бедный наш поэт покидает домашний кров и вступает в обширный божий мир не Чайльд-Гарольдом, с лирою в руках, за ловлею новых впечатлений, не с тем, чтобы благорастворить душу свою свежими и плодоносными вдохновениями; нет, его просто отправляют за границу, как в общественную лечебницу, за неимением средств вылечить дома. В 1838 году встретился я с Языковым в Ганау. Я знал его в Москве полным, румяным, что называется – кровью с молоком. Тут ужаснулся я перемене, которую нашел. Передо мною был старик согбенный, иссохший; с трудом передвигал он ноги, с трудом переводил дыхание. Тело изнемогало под бременем страданий, но духом был от покорен и бодр, хотя и скучал. Чистая, кровная славянская порода его не могла ужиться в неметчине. Мало прислушиваясь к движению немецкой и западной умственной деятельности, он в Германии окружен был русскими книгами, жил русскою жизнью, которую носил в груди своей, в чувствах, привычках и помышлениях. Позднее, когда отлегло ему и в промежутках страданий пытался он извлекать звуки из лиры своей, долго молчавшей в виду новой, гостеприимной природы, радушно приветствовавшей оживающего страдальца, он все тосковал по матушке-Волге и беседовал о ней с зелеными волнами Рейна и с голубыми разливами Средиземного моря. Тоска по отчизне пробудила вдохновение его; с нею сквозь слезы улыбнулась ему его задушевная муза. Россия,

любовь к родине, русское чувство сильно и почти исключительно отразились с того времени в его последовавших песнопениях. Здесь опять преобладающее вдохновение, направление одностороннее. Здесь также недостаток вымысла, мало воображения: творческая игра и прихоть поэта сжаты в означенных пределах, но зато здесь же сила, верность, глубокий отголосок в выражении страсти, которая не развлекается, не дробится радужными отблесками, но сосредоточивается в один чистый и сияющий пламенный искор. В некотором отношении Языков сближается с Державиным. В том и в другом: мысли, чувства, звуки, краски преимущественно, если не исключительно, русские; налетные отголоски, чужеземные образы не отражаются, не отзываются в их родовой поэзии. Не столько предубеждения, ненависть к чужбине оградили их от соприкосновения с иноземными началами, сколько равнодушие ко всему, что не русское, самобытное, врожденное чувство и сознание собственной силы. Не знаю, верно ли передам мою мысль, но я назвал бы их жителями не общего всем поэтам поэтического материка, а поэтами какого-то неприступного острова, отделенного от остального мира океаном собственной, им одним принадлежащей поэзии. Большая часть поэтов, как и племен твердой земли, более или менее сбиваются друг на друга. Они соединены общественными и международными сношениями и условиями, породнились взаимными, порубежными переселениями. Но другие – самобытные островитяне, поэтические самородки. В них, в их поэзии, нет ни капли иноплеменной крови. Спешу прибавить, что не говорю того ни в похвалу им и ни в осуждение, а просто таким очерком определяю их характеристику. В наше время так много толкуют о народности в литературе, так во зло употребляют это выражение, что я остерегаюсь его как слова, которое имеет произвольное и сбивчивое значение. Во всяком случае, есть много неопределенности в изложении настоящего вопроса, в требованиях на разрешение одного. Оно, по моему мнению, темно и бессознательно везде, а особенно у нас. Прежде нежели ввести это требование, это правило в литературное уложение, нужно бы ясно и положительно определить: что признается народностью в литературе? Из каких стихий должна она образоваться? На каких эпохах нашей народной жизни должны утвердиться начала и основания ее? Нельзя не спросить учителей и законодателей новой школы: куда и до каких граней нам возвратиться или, по крайней мере, куда и какими путями вам идти? Разрешения этих вопросов не найдем нигде. Наши нео- и староучители отвлеченным языком, общими местоимениями намекают о том, что должно бы выразить существительными собственными, личными словами, так, чтобы не было ни недоумения, ни сбивчивости. У иных, по странному противоречию, притязания на русскую народность облачаются в зыбкие призраки туманной немецкой философии, так что добрый русак, не посвященный в таинство гегелевского учения, и в толк не возьмет, как ему надлежит окончательно обрусеть. У других эти притязания высказываются в напряженной и пошлой восторженности. У третьих в неуместной подделке простонародного языка, в прибаутках, в поговорках, которые очень живы и метки, когда они срываются с языка, но когда они на досуге навязываются в тишине кабинета, а оттуда переходят в официальную область печатной гласности, они притупляются и становятся приторными. Вообще же эти притязания более всего бессознательный отголосок современного европейского лозунга. За несколько лет пред сим толковали у нас о романтизме; это также были наносные толки. Мы очень любим вмешиваться в чужие речи, чтобы показать, что и мы что-нибудь да смыслим по этой части и по прочим частям. Позвольте же, милостивые государи, спросить вас: чем же были мы доныне, если не были русскими, и если ими не были, то где взять персть и дух, чтобы создать русского писателя? Выдумать народность трудно. Между тем то, что есть существенного и живого в нашей народности, то есть в духовной и нравственной личности народа, то само собою пробивалось в общественных явлениях и в поэтических созданиях тех самых лиц, в которых вы не признаете начал народности. По мне все, что хорошо сказано по-русски, есть чисто русское, чисто народное. Каждое теплое чувство, каждая светлая мысль, облеченная живым и стройным русским словом, есть выражение и достояние народности: будь это стих Дмитриева, которого отлучают

от народности, будь стих Крылова, в котором она будто олицетворилась, будь передо мною любая страница Карамзина, будь одна из хороших страниц Гоголя. Неужели Жуковский, который нам передает Гомера и еще греческим гекзаметром, а не размером песни Кирши Даниловича, должен по части народности уступить ему в отношении к форме, а, например, Хераскову, творцу «Россиады», в отношении к содержанию. В таком случае первым из наших поэтов был бы стихотворец Грамматин, который и по форме и по содержанию не уклонялся от строгой и непогрешительной народности, ибо, воспевая события 1812 года, он заставлял Наполеона держать такую речь: «Ой ты гой еси, добрый маршал Ней!» и так далее. Тот же Жуковский и Пушкин подарили нас несколькими чисто народными сказками; они прекрасны. Но если бы нам суждено было отказаться от части написанного ими, на этих ли сказках остановился бы выбор наш или даже ваш, господа поборники народности в поэзии? Разве Шекспир не тот же народный поэт в Англии, не та же литературная плоть и кровь ее в «Отелло» и в «Ромео», как и в других драмах своих чисто народных и туземно-исторических? Сомнения по этим вопросам не могут быть приняты к делу. От них отказались бы, наверно, и ревностнейшие провозглашатели нового учения. Но не к таким ли заключениям ведет последовательная и логическая связь применений теории, несколько произвольной и заносчивой. Что в каждом народе есть ему свойственная стихия народности, это неоспоримо; что должно ими пользоваться, это так же неоспоримо, как и то, что нельзя отказаться от них, хотя бы паче чаяния кому-нибудь и хотелось переродиться в иностранца. Но дело в том, что не должно и, слава богу, невозможно отделить, отрубить чисто народное от общечеловеческого. Первоначально мы люди, а потом уже земляки, то есть областные жители. Что ни делай, а в каждом земляке отыскивается человек, как в каждом человеке пробивается земляк. Все люди созданы по одному образцу, а между тем у каждого из них своя особенная физиономия, физическая и нравственная. Все писатели одного народа пишут одним языком, те же слова служат им орудиями; а у каждого писателя, то есть не пошлого и не дюжинного, есть свой особенный слог. Как же литературе, которая тоже физиономия и слог народа, не иметь только у нас своей личности, своего характера? Люблю народность, как чувство, но не признаю ее, как систему. Ненавижу исключительность, не только беспрекословную и повелительную, но и условную и двусмысленную. Может быть, эту ненавижу еще более. Христианское учение, эта высшая образованность, есть предвечное и земное просвещение, – другая образованность временная и мимоидущая, – породила народы между собою и все и всех соединила взаимною любовью и пользой. Мне не входит ни в голову, ни в сердце, что можно положить себе за правило и обязанность предпочитать русскую Волгу немецкому Рейну. Не понимаю Языкова, но сочувствую ему, умиляюсь и увлекаюсь чувством его, когда вижу, что он остается волжанином в виду красивого Рейн-Гау или грозного водопада. Языков был влюблен в Россию. Он воспевал ее, как пламенный любовник воспевает свою красавицу, ненаглядную, несравненную. Когда он говорит о ней, слово его возгорается, становится огнедышащим, и потому глубоко и горячо отзывается оно в душе каждого из нас. Те же, которые не сочувствуют искреннему выражению страсти его, из опасения уронить тем свою независимость и возвышенность умозрения, доказывают, что они уклоняются от народного потому, что превратно и ограниченно понимают общечеловеческое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.